Основные направления исследований российского революционного терроризма в западной историографии

Интерес к российскому политическому терроризму на Западе был обусловлен волной террористических актов, захлестнувших западное общество. Для Советского Союза, огражденного от ударов международного терроризма, проблемы истории экстремистских организаций не являлись столь же актуальными. Поэтому применительно к практическим выводам в отношении современно терроризма, при некоторой отстраненности советских историков, работы западных исследователей по проблемам изучения российского политического экстремизма начала XX в. приобретают особый интерес. Многие концептуальные положения западных авторов оказались без существенной коррекции заимствованы отечественной историографией в постсоветский период.

По оценке А. Гейфман, западная историография, так же, как и советская, обошла тему индивидуального политического террора в России начала XX в. молчанием. Ученые на Западе, утверждала американская исследовательница, смотрели на террористическую деятельность эсеров и анархистов глазами большевиков. Впрочем, такого рода заявления выполняли, по-видимому, в большей степени роль анонсирования собственной «дебольшевизированной» монографии, нежели констатации реальной историографической ситуации.

Тема террора, хотя и опосредованного, была довольно широко представлена в работах, посвященных революции 1905-1907 гг.

Можно ли согласиться с мнением об игнорировании научной общественностью Запада темы российского терроризма, если она даже стала предметом диссертационного исследования в Мичиганском университете США? Стоит отметить, что в то же время в Советском Союзе защит диссертаций по проблемам террористического направления в революционном движении начала XX в. не проводилось. Впрочем, автора защищенной в 1976 г. диссертации американского историка Дж.Ф. Макдэниэла можно упрекнуть в смешении эпох, недостаточной обоснованности хронологических рамок. Единую террористическую линию он проводил от 1878 до 1938 г. Автора, по-видимому, ввели в заблуждение материалы советской печати о террористических диверсиях в СССР.

Особый смысл для исследования деятельности российских революционных террористических организаций имела дискуссия о датировке происхождения самого феномена терроризма. У. Лакер представлял точку зрения, что терроризм эквивалентен любому политическому убийству, а потому возможно говорить о его существовании уже применительно к античной эпохе. Впрочем, оговаривался американский исследователь, «концепция систематического террора и его использования в революционной стратегии впервые появилась между 1869 и 1881 годами в сочинениях русских революционеров». Нижняя из указанных хронологических границ совпадала с появлением «Катехизиса революционера» С.Г. Нечаева, верхняя - с народовольческими программными документами.

Итальянский историк М. Ферро относил возникновение терроризма к средним векам. Его генезис он связывал с специфической исламской традицией Хошашин XI - XII вв.

Возникновение феномена терроризма Н. Нэймарк соотносил со временем перехода к «идеологическому обществу» нового времени. Терроризм, справедливо полагал американский историк, всегда идеологичен. Непосредственно его оформление в качестве особого направления общественного движения Н. Нэймарк относил ко времени постнаполеоновской реставрации.

Особо широкое распространение приобрела датировка генезиса терроризма периодом конца XIX-начала XX в. Активными приверженцами такого подхода выступали, в частности, 3. Ивиански и Р. Фредландер. В качестве парадигмы террористической борьбы определялось зарождение элементов «информационного общества». Организация теракта всегда сориентирована на его информационное освещение, а соответственно на ту или иную форму воздействия на общественное сознание. Изобретение телеграфа оценивается важнейшим фактором в становлении террористических организаций. Естественным практическим выводом из этой гипотезы для предотвращения террористической деятельности, до которого, впрочем, не договорились западные исследователи, является создание вакуума информации вокруг совершенного теракта. Поскольку данное логическое следствие бросает тень на сами принципы гражданского открытого общества, концепция оказалась незавершенной. Но именно при последней из представленных датировок особо актуализировалась российская составляющая генезиса терроризма.

Уже на стадии формирования терроризма 3. Ивиански выделяет в нем три основные направления, каждое из которых было представлено собственной идеологией и приемами осуществления. Главными очагами распространения террористической борьбы, соотносящимися с предложенной автором типологией, стали: 1. Европа и США; 2. Россия; 3. Ирландия, Польша, Балканы, Индия. Первый тип терроризма ассоциировался с анархизмом, второй - с социальной революцией, третий - с движением за национальное освобождение. Таким образом, социально-революционное направление в терроризме имело, по интерпретации 3. Ивиански, российское происхождение. Впрочем, оговаривался он, в начале XX в. в Российской Империи получил распространение и терроризм двух других типов. Национально-освободительное направление террористической деятельности было характерно для окраин Российской Империи, в частности территории Польши, Армении и, в несколько меньшей степени, Финляндии.

В отличие от советской историографической традиции, западные историки не дифференцировали народовольческий и неонароднический террор. Они рассматривали их как явления по существу своему однопорядковые.

Наследниками «Народной воли» определяли революционных террористов начала XX в. Б. Адама, Ф. Вентури, А. фон Борке и др. Н. Нэймарк пытался даже доказать факт организационного преемства между террористами народовольческой и эсеровской генераций. В своем исследовании он акцентировал внимание на идеологии и деятельности террористических групп периода правления Александра III. Находясь между двух волн революционного террора, этот период, как правило, оказывался вне хронологических рамок соответствующих исследований. По мнению Н. Нэймарка, к середине 1890-х годов начался процесс партийной консолидации различных террористических групп революционного подполья.

Россия часто именовалась западными авторами «родиной террора», а «Народная воля» - первой террористической организацией. В действительности российский индивидуальный политический террор конца XIX-начала XX в. осуществлялся в контексте мирового террористического синдрома. Народовольцы отнюдь не являлись изобретателями террористической тактики, используемой теми или иными организациями едва ли не на всем протяжении политической истории. Афоризм о России как родине террора соотносится с устойчивой идиомой западной историографии об имманентном российском тоталитаризме. Проводилась мысль о том, что революционный терроризм как нецивилизованный метод разрешения политических противоречий посредством насилия генетически связан с тоталитарными режимами. Россия, при такой интерпретации, несла ответственность перед мировым сообществом за заражение его вирусами террора.

Попытка дистанцироваться от тактических принципов «Народной воли» при утверждении, что не несколько бомб, не кружок конспираторов, а только политическая партия (под которой понималась социал-революционная партия народного права) сможет уничтожить самодержавие, осталась лишь декларацией о намерениях. Созданная в конечном итоге партия социалистов-революционеров придерживалась прежней народовольческой тактики индивидуального террора.

В западной историографии российского революционного терроризма доминировала теория «двух зол». Политическая трагедия России виделась в столкновении радикальных и авторитарных по своей сути сил - самодержавного режима и революционного подполья. Ни к одному из них западные историки симпатий не испытывали. Следствием имманентных качеств обеих сил и стало применение политического насилия в виде государственного террора и революционного терроризма. Либерализм же оказался невостребованным российским обществом ввиду отсутствия гражданского правосознания и деноминации правового нигилизма.

Революционный терроризм, в оценках западных исследователей, коррелировался с правительственным шовинизмом. Смерть К.Ф. Плеве и вел. кн. Сергея Александровича, по мнению Л. Прайсмана, была расплатой за санкционирование ими еврейских погромов. После убийства министра внутренних дел лидеры эсеров подчеркивали: «Это за Кишинев!».

Хрестоматийным в западной историографии стало мнение, что революционный терроризм в России является следствием бесправия и беззакония. На культорологический аспект российский террористической традиции обратил внимание Дж. Билингтон в книге с характерным дихотомическим названием «Икона и топор». Терроризм рассматривался им как краеугольный компонент русской интеллигентской рефлексии.

Одной из дискуссионных проблем стал вопрос об оправданности актуализации изучения истории российских террористических организаций начала XX в. применительно к контексту международного терроризма современного мира. В этой дискуссии преломлялась общая историографическая полемика об универсальности и специфичности в истории. Сторонником мнения о сущностной идентичности террористических актов в начале и конце XX столетия выступал американский историк Н. Нэймарк. «Как современники и свидетели террористических актов во всех уголках мира, -писал исследователь, - мы можем оценить гипнотизирующее воздействие терроризма на российское государство. Структура террористических нападений, реакция публики и властей и типология поведения преступников не изменились сколь-нибудь существенно». Противоположной позиции придерживался У. Лакер, отстаивавший тезис о культурно-исторической поливариантности терроризма «Никого не должен сдерживать тот факт, - пояснял он, - что не существует «общей научной теории» терроризма. Общая теория a priori невозможна, потому что у этого феномена чересчур много различных причин и проявлений».

Возможность проведения интенсивной исследовательской работы по изучению истории российского революционного терроризма была обусловлена наличием в Европе и США соответствующих архивных фондов. В Гуверовском институте в Стэнфорде базируются Архив заграничной агентуры Департамента полиции и коллекции Б.И. Николаевского, в Международном институте социальной истории - архив ПСР. Так что в источниковедческом отношении труды отечественных и зарубежных историков могли бы дополнить друг друга.

На Западе преобладало психологическое объяснение генезиса террористической деятельности. Выдвигался тезис о том, что в террористы идут люди особого психологического типа, с повышенной раздражимостью и гипертрофированным самомнением. В террористических организациях, в частности в боевых группах российских революционеров, обнаруживалось значительное число лиц с нарцистическими и пограничными отклонениями. Целью исследований терроризма в таком случае становилось выявление патологий. Методология психосемантического анализа истории террористических организаций в конце 1980-начале 1990-х годов была заимствована и отечественными исследователями.

Тема суицидальной парадигмы русского терроризма стала на Западе своеобразным историографическим клише. У. Лакер писал об особой «мистике смерти» в террористической семиосфере. Э. Найт отмечала, что «склонность к самоубийству была частью менталитета террористов, поскольку террористический акт часто был и актом самоубийства». «Террор, - продолжала она, - становился их целью, их способом существования. Далекие политические и социальные цели отодвигались на задний план необходимостью участвовать в боевых акциях». В Гарвардском университете был даже подготовлен сборник трудов, посвященной проблеме самоубийств в русской революционной семиосфере. Э. Найт иллюстрирует суицидальную патологию терроризма посредством реконструкции психического состояния и ценностных ориентации эсеровских террористок Зинаиды Коноплянниковой, Марии Школьник, Евстилии Рогозниковой, Марии Селюк, Фрумы Фрумкиной, Татьяны Леонтьевой, Софьи Хренковой и др. У всех них автор обнаруживает симптомы тяжелых психических недугов, сублимировавшихся в предрасположенность к суициду. С точки зрения А. Мерари, суицидальные мотивы являются не русской революционной спецификой, но универсальным феноменом при осмыслении природы международного терроризма. Террористы всех стран и народов не только были готовы умереть, а страстно желали этого.

Эсерка Ф. Фрумкина признавалась: «Меня всегда привлекала мысль о совершении террористического акта. Я думала и думаю до сих пор только об этом, желала и желаю только этого. Я не могу себя контролировать». Когда руководство ПСР, усомнившись в ее психологической устойчивости, запретило совершение терактов, она решила действовать самостоятельно, придумывая вооруженные нападения, и даже пытаясь их осуществить в тюремном заключении. Участница эсеровских заговоров по убийству царя и генерала Д.Ф. Трепова боевик Татьяна Леонтьева, несмотря на тяжесть обвинений, была вскоре после ареста выпущена под опеку родителей, поскольку проявляла «серьезные признаки душевной болезни». Родители же сочли необходимым отправить ее в психиатрическую лечебницу в Швейцарию. Но там она вступила в группу максималистов и в состоянии умопомрачения, приняв семидесятилетнего рантье из Парижа за министра внутренних дел П. Дурново, убивает его выстрелом из браунинга.

К психиатру обращался культовый герой подпольной семиосферы, убийца Великого князя Сергея Александровича Иван Каляев, ибо товарищи по партии высказывали серьезные сомнения по поводу его нормальности — в буквальном смысле этого слова. Несмотря на легенду большевиков, что Камо притворялся сумасшедшим, дабы избежать осуждения, есть все основания считать его действительно душевнобольным. Постоянные избиения в детстве со стороны отчима привели к развитию психических комплексов. Даже среди экспроприаторов Камо отличался крайней неуравновешенностью и импульсивностью. Он и прежде являлся постоянным клиентом психиатрических клиник.

По словам исследовательницы Э. Найт, «склонность к самоубийству была частью менталитета террористов, поскольку террористический акт часто был и актом самоубийства». Террористы не только готовы были умереть, но и желали этого. Член Северного летучего боевого отряда ПСР Евстиллия Рогозинникова отправлялась для совершения убийства начальника Петербургского тюремного управления A.M. Максимовского, будучи обвешанной тринадцатью фунтами нитроглицерина вместе со взрывным устройством, что хватило бы для уничтожения всего здания. Застрелившая генерала, но не успевшая использовать взрывчатку, на суде она казалась совершенно безумной и прерывала свое молчание лишь истерическим хохотом. Многие из экстремистов убивали себя, дабы не попасть в руки властей. Другие выражали явную радость при вынесении ими судом смертного приговора. Убившая генерала Г. Мина эсеровская террористка Зинаида Конопляникова, по словам свидетеля казни, так сильно желала умереть, что шла на смерть, как на праздник.

Другая американская исследовательница А. Шур утверждала, что движущими мотивами деятельности российских террористок являлись умственные расстройства и суицидальная патология.

Таким образом, угроза физической расправы с боевиками оказывается сама по себе малоэффективным приемом борьбы с ними. Террористы всегда готовы к такому исходу, а зачастую и желают его. Испугает ли шахида электрический стул, если он и сам приговорил себя к смерти. Угроза репрессий должна, по-видимому, подразумевать не самих террористов, а близких к ним лиц. Одно дело, когда боевик распоряжается собственной жизнью, и совсем другое, когда обрекает на смерть своих родственников или товарищей. Самодержавие в XX в. с успехом сдерживало терроризм в колонизуемых азиатских регионах, широко используя практику заложничества. Но варварские методы не могли быть применены по отношению к собственной интеллигенции.

Революционное сознание являлось сублимацией психологических комплексов, а потому преодолеть его было возможно не полицейской методой подавления, к которой безуспешно прибегало правительство, а семиотическим воздействием на подсознательную сферу. Даже Вера Фигнер констатировала связь между революционным террором и слабой организацией нервной системы его адептов. Довольно значительное представительство в революционном подполье было лиц с половой аномалией. То, что известная во всероссийском масштабе террористка и глава банды Маруся Никифорова являлась гермафродитом, не могло не сказаться на революционаризации ее сознания. Обращает на себя внимание едва ли не преобладающее представительство в русском терроризме женщин, что объяснимо их большей склонностью к экзальтации.

Трансформация экзальтированности подпольного человека в манию преследования иллюстрирует эпизод с эсеркой Марией Селюк, подготавливаемой к покушению на Плеве. Ожидание момента теракта привело ее к полной потере душевного равновесия. Боязнь полицейской слежки переросла у нее в тяжелую форму паранойи, и она видела агентов даже в детях на улице. В конце концов Селюк заперлась у себя в квартире, но, не выдержав самозаключения, впала в панику и сдалась полиции. Другой представитель подполья неизменно носил темные очки, объясняя это тем, что иначе «по выражению лица, могут угадать его революционные мысли». Причем следили за ним, как он считал, не рядовые шпионы, а лично СЮ. Витте и министр внутренних дел П.Н. Дурново. Интересно, что в оценках окружающих его по революционному подполью он представлялся совершенно нормальным. Даже такого опытного террориста, как Б.В. Савинков, после убийства губернатора, постоянно преследуют видения, что губернатор все еще жив. Его требуется убивать вновь и вновь, бесконечно пребывая в состоянии борьбы с самовосстанавливающейся системой. И оказавшиеся у власти бывшие подпольщики так и не смогли изжить шпиономании, о чем свидетельствует их самоистребление в партийных чистках.

Многими из революционеров двигало тривиальное чувство мести, которое переносилось с непосредственного обидчика на целый класс или даже государство. О мотиве мести за брата при вступлении в революцию молодого Владимира Ульянова писалось довольно часто. Многие террористы - выходцы из еврейской среды - объясняли свое участие в терроре местью за кишиневские погромы. «Я жажду мести, - писал один из эсеров. -Я готов на террор из личной мести. Я хочу убивать этих клопов, чтобы показать им их ничтожество и трусость. Если бы ты только знал, как они издевались надо мной и как мое самолюбие страдало. Я против террора, но одного мерзавца я решил убить, и убью».

Террор при отсутствии квалифицированных реабилитационных средств являлся психотерапевтическим механизмом преодоления комплекса неполноценности. Так, не проявившая себя, несмотря на все старания, в «мирной» революционной работе эсерка Лидия Езерская решает убить могилевского губернатора Клингенберга для оправдания своего существования. Согласно мнению Э. Найт, причины, приведшие известную эсерку Фруму Фрумкину к террористической деятельности, проистекали из комплекса неполноценности и стремления самоутвердиться как личности.

У многих представителей революционного подполья проявлялись симптомы клептомании. Члены организации анархистов обвинялись не только в хищениях денег из партийной кассы, но и персонально у своих соратников. Процветало мелкое воровство. Причем незначительность украденного приводила к предположению о склонности к маниакальным недугам. Подобного рода революционеров эффективнее было бы лечить, нежели наказывать.

Другим психиатрическим мотивом революционного подполья являлась патологическая жестокость. Радикально настроенные киевские железнодорожные рабочие бросали бывших своих товарищей, уличенных в провокаторстве, в баки с кипящей водой. Прибалтийские революционеры в 1905г. уродовали даже тела жертв и на трупах убитых ими российских военных вырезали ругательства. Повсеместно революционными радикалами апробировались изощренные пытки политических противников. В качестве символического жеста у полицейских агентов вырезались языки. Представители Польской социалистической партии по заранее разработанному плану отрезали заподозренному в провокаторстве товарищу нос и уши, после чего труп разрубили на куски и спрятали в сундук, где он и был найден властями. Стоит ли удивляться садистской жестокости тех же людей в гражданскую войну и в период сталинских репрессий.

Пьянство, наркотики, разврат также входили в нормативную семиосферу контркультуры подполья. По воспоминаниям одного из революционеров, каторжная жизнь в Якутске состояла из сплошного пьянства. Так, во время попойки пятнадцати радикалов, продолжавшейся весь день, один из ссыльных умер от алкогольного отравления. Когда же приехал врач, он увидел, что один из политических лежит без сознания рядом с трупом, другой пытается заставить своего мертвого товарища выпить еще стакан, а остальные продолжают возлияние. Удивительно то, что в российских тюрьмах начала XX в. политические вели себя более экспрессивно, чем уголовники, и, как правило, побеждали тех в стычках. По разгулу пьяных дебошей и легкости в совершении убийств уголовники также оказались потеснены политическими.

Традиционный механизм тюремного заключения вел не к исправлению, а лишь к рецидиву. Пенитенциарная система царской России сохраняла у введенных в нее маргиналов изоляцию от внешнего мира и двухмерное, биполярное мышление. Поэтому в тюрьмах динамика самоубийств еще более возрастала. Многие политические переводились из мест заключения в психиатрические лечебницы. По признанию сокамерников, они боялись спать в присутствии своих душевнобольных товарищей из опасения, что те впадут ночью в буйство и набросятся с ножом на спящего соседа. Самоубийство совершила, к примеру, член Боевой организации ПСР Софья Хренкова, несмотря на то, что являлась матерью троих детей. Даже характеризовавшийся железной волей Г.А. Гершуни, пытался во время заключения наложить на себя руки.

Несмотря на преобладание в западной историографии психолого-семантической интерпретации генезиса терроризма, его объяснение через призму социологических факторов также находило много сторонников. Так, М. Перри определяла социальную базу террористических организаций в России начала XX в. состоящей из неадаптированных к условиям городской жизни рабочих масс. Вырванные из контекста традиционного уклада, бывшие крестьяне с трудом переносили тяготы жизни в городах. По подсчетам М. Перри, не менее 50% организованных эсерами террористических актов было совершенно рабочими. В этом отношении российский революционный терроризм начала XX в. принципиально отличался от интеллигентского по своей социальной подоплеке терроризма народовольцев. Теория о терроризме как реакции на процесс урбанизации нуждается в дальнейшей разработке.

Как в советской, так и в зарубежной историографии утвердилось мнение о том, что революционные террористические организации в России кооптировались преимущественно из интеллигенции. Хотя М. Перри и продемонстрировала динамику роста представительства рабочих среди боевиков, эти изменения, согласно ей, так и не привели к социальной трансформации. Особое внимание британский историк, в сравнении с другими авторами, уделяла практике экспроприации. В этой связи не случаен ее интерес к партии социалистов-революционеров максималистов. По мнению М. Перри, максималистский терроризм соответствовал умонастроениям люмпенизированных слоев российского города периода урбанизации.

Практика фабричного терроризма, полагала английская исследовательница, превалировала у максималистов над аграрным терроризмом.

При отсутствии столь же определенно выраженной методологии классового анализа и соответствующего понятийного инструментария, как в советской историографии, попытки западных исследователей определить социальную базу революционного терроризма часто приводили к противоречиям. Так, Ф. Вентури связывал генезис терроризма в России с отсутствием опоры у революционных организаций в массах. Выдвигался общий применительно к изучению истории террористических организаций подход, что «неспособность тех, кто принимает близко к сердцу участь бедняков или жертв дискриминации, заручиться поддержкой именно тех слов общества, которые в первую очередь страдают от подобных обстоятельств, заставила многих радикалов в разных частях мира стать террористами». Вместе с тем ПСР, прославившаяся рядом громких терактов, традиционно определялась в западной историографии как самая массовая из политических партий предреволюционной России.

Катализаторам зарождения новой волны революционного терроризма Р. Роббинс определял голод и эпидемии 1891-1892 гг. Крестьяне с благодарностью воспринимали правительственную помощь, называя ее «царским пайком» и в то же время крайне враждебно относились к содействию со стороны образованного класса. Медицинских работников, например, подозревали в намерении извести сельских жителей. Разочарование интеллигенции в перспективах организации массового революционного движения и привело, с точки зрения Р. Роббинса, к переориентации ее на террористическую тактику. Однако вопреки мнению американского исследователя, когда к участию в революции были привлечены широкие народные массы, терроризм не только не прекратил своего существования, но получил дополнительные импульсы развития.

Напротив, немецкий историк М. Хильдермайер полагал, что революционные террористы пользовались если не поддержкой, то сочувствием в различных слоях российского общества «Как правило, - писал он, - террористы добиваются наибольшего успеха, если им удается заручиться пусть небольшой практической, но зато широкой моральной поддержкой в уже нестабильном обществе». Следовательно, для развития терроризма в России имелась довольно широкая социальная база, а потому объяснять его генезис оторванностью от масс не вполне корректно.

Германская историография российского революционного терроризма была представлена, главным образом, трудами М. Хилдермейера, специализировавшегося на изучении истории эсеровского движения. Согласно его мнению, эсеровский терроризм следует рассматривать через призму характерных для социалистов-революционеров моральных и этических соображений. «Эсеров, - писал немецкий историк, - отличали «примечательный иррационализм и почти псевдорелигиозное преклонение перед «героями-мстителями». Среди мотивов совершения терактов назвались отнюдь не политические аргументы, а «ненависть», «дух самопожертвования», «чувство чести». Использование бомб утверждало существование у эсеров внутренней дифференциации между террористами, на которых распространялась особая аура, и «гражданскими членами партии». Последние в восприятии боевиков являлись людьми низшего, по революционным меркам, сорта. Боевики с большим скепсисом относились к любой абстрактной теории, игнорировали межпартийные и внутрипартийные дебаты. Теоретизированию они противопоставляли «настоящее дело», под которым подразумевали исключительно терроризм.

Само создание Боевой организации М. Хилдермейер считал эсеровским изобретением. В «Народной воле» одни и те же люди выступали в качестве как идеологов, так и террористов. Эсеры первыми привнесли в партийное структурирование принцип разделения труда, выделив из своего состава группу, единственной обязанностью которой являлась организация политических убийств.

Значительное влияние на российскую историографию постсоветского периода оказали труды по истории революционного терроризма в России американской исследовательницы А. Гейфман. Целевой установкой своей работы она провозгласила «демифологизировать и деромантизировать русское революционное движение, самое революцию и ее участников, которых столь облагородили и возвысили далеко не беспристрастные мемуаристы». Именно терроризм, с ее точки зрения, а не массовое движение играл главную роль в революции 1905-1907 гг. и - шире - во всей политической истории начала XX в. При том, что в действительности ни одна крупная политическая партия, включая эсеровскую, не выдвигала террористическую тактику в качестве основного направления деятельности, соотнося ее с более широкими формами классовой борьбы. Но А. Гейфман даже массовый террор большевистского государства сводила к революционному терроризму начала века, объясняя преемственностью от последнего все коллизии советской истории. «Советский режим, - утверждала она, был действительно наследником террористической патологии». Сталинизм, в ее интерпретации, преломлялся через личность «бывшего кавказского бандита». Основой для такого рода выводов служило смешение автором природы политического терроризма и государственного террора.

В содержательном отношении А. Гейфман сосредоточилась на раскрытии феномена «изнанки» или «накипи» революции. Ею была представлена яркая картина повсеместной ротации в террористические организации уголовников и психически неуравновешенных лиц. Именно они составили костяк революционных сил. Так называемое новое поколение русских экстремистов, пришедших на смену народовольческой генерации, характеризовалось ею необычайно низким идейным уровнем и почти полным отсутствием политического сознания. «Изнанка революции», в интерпретации А. Гейфман, оказывалась ее лицевой стороной.

«Многие акты экспроприации, - констатировала А. Гейфман, - были далеко не бескровными, поскольку в провинции немногие эсеры действительно пытались сохранить жизни случайных свидетелей. Особой же опасности подвергались лица, которых эсеры считали эксплуататорами. В эту категорию экстремисты заносили не только землевладельцев, владельцев магазинов и других собственников, но и тех, кто, не будучи сам зажиточным, оказывался препятствием на пути революционеров по долгу службы у богатых лиц и в полиции. Некоторые эсеры не щадили и бедняков, иногда даже грабя и убивая крестьян. Более того, сбывались наихудшие опасения некоторых лидеров ПСР: многие эсеровские боевики, развращенные частым применением насилия и легкой наживой, и думать забыли о каких-либо идеалах и целях партии и просто вели распутный образ жизни на деньги, конфискованные якобы для дела революции».

Среди спектра российских оппозиционных партий, утверждала американская исследовательница, не нашлось ни одной антитеррористической. Социал-демократы, как большевистского, так и меньшевистского направления, осуждая терроризм в теории, активно применяли террористическую тактику на практике. Теракты в исполнении эсдеков имели в большей степени прагматическую направленность решения неотложных задач текущего момента, нежели окутанные ореолом романтизма действия эсеровских боевиков. Даже кадеты, несмотря на все давление со стороны правительственных кругов, категорически отказывались осудить революционный терроризм, тайно сочувствуя боевикам.

Ярким представителем психологического направления в интерпретации природы терроризма является А. Гейфман. Террорист в этом понимании есть не носитель какой-то социальной идеи, а персонаж, сублимирующий через теракты собственные психологические комплексы. Внутренняя мотивация «идейного» террориста репродуцируется А. Гейфман следующим образом: «Люди, обуреваемые жаждой разрушительной общественной деятельности, зачастую достаточно тонкокожи и уязвимы, чтобы ощущать грубость, грязь, пошлость, уродство и прочие несовершенства окружающего их мира. Даже неисправимым оптимистам, не склонным к меланхолии и унынию, но обладающим чувствительностью, свойственно видеть и ужасаться порочности и глубоким нравственным (и эстетическим) изъянам во всем, что их окружает. И, пожалуй, особенно травмирует их то, что, вопреки даже самому сильному желанию человека не соприкасаться с этими отвратительными сторонами жизни, самое существование его в мире не только постоянно сталкивает его с пороком, но как бы пропитывает им человека, не умеющего противостоять давлению извне. И вот такой человек, не злодей и не проходимец вовсе, а наоборот, личность с уязвленной душой, чутко реагирующей на соприкосновение с любым видом уродства, приходит к отчаянной мысли о возможности искоренить мировое зло за счет изменения внешних обстоятельств. В разные эпохи такие рассуждения поддерживались различными философскими идеями, как бы оформлявшими мировоззрение человека, уже одержимого жаждой общественной деятельности. И, вооружившись схемами, описывающими несовершенство миропорядка, равно как и пути к его исправлению, такой человек начинает бороться с социально-политическими, экономическими, религиозными и прочими устоями, ломая их, чтобы изменить мир по своему вкусу (самому благородному, естественно) и - для себя. Вместо того чтобы призвать на помощь мудрость и, быть может, грустную иронию, дабы не заблуждаться (и не обольщаться) по поводу глубины и уникальности собственных страданий (и... достоинств), вместо того чтобы - как следствие развития самооценки и самоиронии - увидеть, наконец, рядом с собой ближнего, заметить с удивлением, что ему (этому отдельному, живому, дышащему человеку, а не абстрактной народной массе) тоже больно и страшно, вместо того чтобы затем, не унижая его снисходительной жалостью и не самоутверждаясь за счет его страданий, просто понять, почувствовать его боль, как если бы она была своя, и, понимая даже, что, может быть, выхода-то и нет и быть не может, разделить его тоску, - вместо всего этого революционер, обремененный жаждой спасти мир, забывает и себя, и своего ближнего ради уже неотделимой от него идеи».

Советская историография много внимания уделяла борьбе большевиков по разоблачению псевдореволюционной сущности других оппозиционных партий. Западные исследователи, по-видимому, под влиянием антибольшевистских выступлений представителей левого спектра российской эмиграции долго полагали, что революционеры ненавидели друг друга так же, как ненавидели самодержавие. Со временем тезис об абсолютном внутреннем расколе революционных сил стал пересматриваться. Появились многочисленные сведения о совместных террористических операциях, организованных боевыми группами различных социалистических партий. Большой интерес для понимания природы терроризма представляют межпартийные террористические объединения. В то время когда партийные идеологи обличали друг друга, боевики объединялись. Следовательно, терроризм имел собственную идеологию и программу, отличную от партийного канона. Не случайно организатор большевистских боевых групп Л.Б. Красин резко критиковал антиэсеровскую кампанию в «Искре», полагая, что она приносит значительный вред на местах, где террористическая

деятельность ведется совместными усилиями эсдеков и эсеров. Н. Нэй-марк, вопреки сложившемуся стереотипу, утверждал, что взаимоотношения между радикалами отличались идеологической гибкостью, терпимостью и взаимопомощью. В тактике объединения усилий на террористическом поприще он видел идущее от народников «наследие революционного движения». М. Мелансон полагал, что когда дело доходило до решительных действий, к каковым, прежде всего, и относился терроризм, представители левых партий забывали о былых разногласиях. Социалисты различных партий и фракций, писал он, «неформально согласовывали свои действия и в критические моменты заключали официальные межпартийные соглашения». Вероятно, в такого рода объединениях не последнюю роль играли этические мотивы. Участие в терактах предполагало угрозу смерти для боевиков, а потому отказ от объединенной террористической операции мог быть воспринят как проявление трусости.

При табуизации в СССР темы участия большевиков в организации террористических актов особое значение приобретают разработки проблемы отношения социал-демократии к терроризму в западной историографии. Впрочем, и среди западных историков сообщение об организованных социал-демократами террористических актах были не столь уж часты. Так, Р. Вильяме, хотя и уделяет внимание большевистской практике экспроприации, обходит молчанием участие большевиков в политических убийствах. Дж.Л.Х. Кип лишь упоминает о феномене большевистского терроризма, не раскрывая его содержания. Г.Дж. Тобиас рассматривает официальную позицию Бунда по отношению к терроризму в период, предшествующий первой русской революции. Правда, практическое участие бундовцев в террористической деятельности осталось за рамками его исследования. Бундовский терроризм до настоящего времени остается белым пятном в историографии революционного терроризма.

Непосредственно теме эсдековского терроризма была посвящена докторская диссертация Дэвида Алена Ньюэлла, защищенная в 1981 г. в Стэнфорде. Однако в ней автор главным образом исследовал терроризм через призму социал-демократической идеологии, а не практическую деятельность эсдековских боевых организаций. Среди прочих доводов, используемых в пользу терроризма, Д.А. Ньюэлл указывал на рассмотрение социал-демократами терактов как средства самозащиты от полицейского произвола, без которых абсолютно ничем не сдерживаемое насилие со стороны самодержавного режима перейдет все границы.

Террористическая практика как большевиков, так и меньшевиков была представлена в наиболее развернутом виде А. Гейфман. В отличие от Д.А. Ньюэлла, она доказывала фактическое расхождение террористической деятельности эсдеков с антитеррористическими идейными установками.

Западная историография была свободна от традиционного для советской исторической науки лениноцентризма. Согласно Р. Вильямсу, «не Ленин, а Л.Б. Красин начал разрабатывать большевистские планы создания вооруженных отрядов, способных наносить удары по российскому правительству в 1905». Именно усилиями Леонида Борисовича Красина, в январе 1905 г. при Центральном Комитете была организована «Военно-техническая группа», функция которой заключалась в координации нелегальных действий партии, в том числе по покупке и изготовлению взрывных устройств. Он сам, утверждал Р. Вильяме, участвовал в проектировании бомбы.

Согласно гипотезе Р. Пайпса, первоначально Владимир Ульянов состоял в народовольческих кружках и с пиететом относился к революционной террористической практике. Утверждение М.И. Ульяновой о критике будущим вождем большевиков тактики, которую пытался реализовать старший брат народоволец (слова о «другом пути»), американский исследователь считает недостоверным. Со временем интеллектуальная эволюция привела В.И. Ульянова к социал-демократам, но определенные симпатии к народовольческому терроризму, полагает Р. Пайпс, у него сохранились. Большевики же, отвергая официально террористическую тактику, довольно часто к ней прибегали.

На исследовании анархистского направления в русском терроризме специализировался П. Аврич. Особенно широкое распространение, по оценке исследователя, он получил в западных областях России (главным образом в Риге, Вильно, Варшаве). Анархистских боевиков, согласно интерпретации П. Аврича, отличала безмотивность при осуществлении терактов. По теории безмотивного терроризма, политическое убийство не требовало какого бы то ни было обоснования. Принципы безмотивников предоставляли широкое поле деятельности для экстремистов всех мастей. Именно ввиду специфической идеологи, писал П. Аврич, анархисты призывали своих адептов бросать бомбы в театры и рестораны, поскольку такие места были созданы специально для увеселения буржуазии, и представители пролетариата их не посещали.

На изучение проблем истории террористических организаций оказало влияние развитие тендерной историографии. Одним из наиболее излюбленных сюжетов у западных авторов в тематике российского революционного экстремизма стало участие в террористической деятельности представительниц слабого пола. Согласно статистике Н. Нэймарка, женщины составляли почти треть в Боевой организаций эсеров и четверть по российским террористическим организациями в целом.

Феномен женского терроризма в России в контексте процесса эмансипации женщин рассматривала Э. Найт. При существовании многочисленных препон для образовательной, профессиональной и политической самореализации женщин терроризм как раз являлся той нишей, в которой они ощущали свой равноправный статус. Дамоклов меч смерти уравнивал террористов-мужчин и террористок-женщин.

Особенно, отмечает Э. Найт, политический терроризм привлекал еврейских женщин. По ее подсчетам, они составляли 30% от женской части партии социалистов-революционеров. Еврейка находилась в гораздо большем семейном закрепощении, чем русская женщина. Поэтому, полагала Э. Найт, уход еврейской девушки в террор являлся актом личного освобождения. Отвергалась одна из фундаментальных основ еврейской тендерной системы, предписывающей женщине роль матери семейства.

Современный контекст актуализации образа шахидки-смертницы заставляет скорректировать некоторые концептуальные положения, выдвинутые Э. Найт. Представительницы исламских террористических организаций менее всего ратуют за социальную эмансипацию женщин. Однако психологический мотив их самоутверждения посредством участия в терактах в патриархальной по своему характеру субкультуре представляется очевидным.

Примерно 22% всех террористов-эсеров было в возрасте от 15 до 19 лет, а 45% - от 20 до 24 лет. Возникали террористические организации школьников. Известны случаи, когда ученики школ и гимназий убивали реакционных учителей, взрывали портреты Николая II, совершали покушения на полицейских. Но власти не смогли посмотреть на проблему через призму подростковой психологии, а потому вместо социализации учащихся, происходила их маргинализация.

Студенческая молодежь выступала в качестве авангардной силы и в других революциях. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на средний возраст руководящего революционного звена. А.С. Изгоев ссылался в этом отношении на опыт революции младотурок. В современном мире находящееся на слуху исламское движение «Талибан» даже этимологически восходит к наименованию студентов (талибы - учащиеся медресе). Поэтому сам феномен революции должен быть исследован через призму молодежной девиантологии.

Для советской историографии терроризм как одно из проявлений классовой борьбы имел социальную природу. Национальный фактор в генезисе террористических организаций нивелировался. Напротив, в западной историографии национальным мотивам революционного терроризма в России уделялось весьма пристальное внимание. Э. Найт, Н. Нэймарк, Л. Шапиро и др. подчеркивали непропорционально большое представительство в российских террористических организациях выходцев из еврейской среды. Указывалось, что побудительным мотивом вступления евреев на ниву террористической деятельности являлись не только притеснения со стороны властей, но и авторитарно-нормативный характер бытия замкнутых иудейских общин. По еврейским отпрыскам, примкнувшим к революционному движению, правоверные родители-иудеи подчас соблюдали недельный траур - шиву, как по умершим.

Повышенное внимание в западной историографии традиционно уделялось мотиву цареубийства в революционном терроризме. По мнению Дж.Ф. Макдэниэла, убийство монарха рассматривалась террористами не только в политическом, но и в этническом аспекте. Кровь царя оправдывала, по их представлениям, все совершенные на революционной ниве преступления. Христианское учение об искуплении кровью Христа людской греховности странным образом преломлялось в идее искупления посредством убийства помазанника Божьего. А. Гейфман даже утверждала, что цареубийство неизменно являлось центральным пунктом планов всех левых радикальных организаций. Оно продолжало представлять актуальность на всем протяжении царствования Николая II.

Определенная лепта была внесена западными историками в историографию киевского теракта 1 сентября 1911 г. Р. Пайпс считал версию о причастности охранки к убийству П.А. Столыпина несостоятельной. Премьер-министра и так ожидала скорая отставка, а потому его врагам не было нужды прибегать к насилию. К тому же Д.Г. Богров мог бы выдать на допросе своих сообщников. Однако сам факт распространения слухов о заговоре охранки свидетельствовал, по оценке Р. Пайпса, о «ядоточивой семиосфере, царившей в Российской империи перед самой ее кончиной».

Долгие годы пугалом западного общества на уровне массового восприятия являлся Комитет государственной безопасности СССР. Поэтому особой популярностью среди западных историков, специализирующихся на изучении досоветского периода российского прошлого, пользовалась разработка темы об исторических предшественниках КГБ в императорской России. Борьба охранных структур с террористическими организациями служила узловым сюжетом исследовательской работы в данном направлении.

Провокаторство среди эсеровских террористов стало предметом изучения израильской исследовательницы Н. Шлейфман. Ею детальнейшим образом рассмотрены дела по разоблачению провокаторской деятельности Е.Ф. Азефа, Н.Ю. Татарова, А.А. Петрова и др. Основным мотивом азе-фовского поведения она считала лишь его финансовые соображения. Сосредоточившись на выявлении механизмов манипуляции боевиками Е.Ф. Азефом, Н. Шлейфман оставляет в тени фигуры других лидеров БО. Исследовательница прибегает и к статистическим подсчетам, позволившим ей выявить социальный состав террористов и определить масштабы внедрения в их среду провокаторов. Именно в боевые структуры революционного движения, неоднократно подчеркивала она, охранное отделение наиболее охотно внедряло своих агентов. И, конечно же, в работе Н. Шлейфман не обошлось без рассмотрения традиционной для западной историографии российского революционного терроризма проблемы морального фактора в поведении терроризма и провокации.

Ряд нетривиальных характеристик был предложен в западной историографии при реконструировании психологического образа видных террористов. Так, американская исследовательница А. Гейфман развенчивала романтический миф о создателе эсеровской Боевой организации Г.А. Гер-шуни. «Героический, почти мифический образ Гершуни, нарисованный эсерами (особенно после его смерти в 1908 году), - констатировала она, -требует пересмотра. В противоречии со своей репутацией великого знатока характеров Гершуни часто неудачно выбирал сторонников, которые явно вздыхали с облегчением, освободившись от его чар, как только он уходил от них и не мог лично их контролировать. Даже Мельников, заместитель Гершуни в Боевой организации, оказался не готовым к самоотверженной жертве. Более того, Гершуни был, наконец, арестован в Киеве в мае 1903, года и ему грозил смертный приговор, сам он был вполне согласен пожертвовать своим революционным идеализмом перед лицом угрозы собственной жизни, несмотря на его прославленные смелость и силу воли. В то время как предыдущие представители поколений русских революционеров использовали суды для прославления революции, не одобряли тех, кто подавал прошения о помиловании в адрес царя, Гершуни, как и многие другие террористы нового типа, отчаянно отрицал свое причастие к каким бы то ни было политическим убийствам, а потом послал Николаю II прошение о помиловании. Ему удалось добиться замены смертной казни пожизненной каторгой, но, согласно данным полиции, многие его соратники по партии считали такое поведение недостойным и трусливым, и им было трудно спорить со своими социал-демократическими критиками, утверждавшими, что фигура Гершуни была дутой и его репутация незаслуженной».

А. Гейфман внесла свою лепту и в развитие историографии азефов-ского дела. Она представила редукционную, в контексте развития историографии терроризма, версию азефиады. Американский историк выступила с критикой концепции Б.И. Николаевского о двойной игре Е.Ф. Азефа. Исследовательница пыталась не вполне успешно доказать, что Е.Ф. Азеф на протяжении всей своей деятельности оставался преданным агентом Департамента полиции и никогда не организовывал террористических актов. По ее мнению, предоставляемая им информация подвергалась фальсификации его непосредственными полицейскими начальниками.

Точка зрения А. Гейфман на обстоятельства азефского дела не получила широкого распространения. В росссийской историографии аргументы А. Гейфман были подвергнуты убедительной критике СВ. Тютюкиным.

Вокруг биографии Е.Ф. Азефа строится сюжетная канва монографии израильского историка Л.Г. Прайсмана «Террористы и революционеры, охранники и провокаторы». В своем исследовании автор ставит задачу отсечь шлейф демонизации, тянущийся в историографии за агентом царской охранки, представить его живым человеком, с собственными пристрастиями и симпатиями. Согласно интерпретации Л.Г. Прайсмана, Е.Ф. Азеф являлся в значительно большей степени революционером, нежели охранником. Его ответственность за убийство К.Ф. Плеве и великого князя Сергея Александровича не вызывает у автора сомнений. Основным мотивом азефовской игры им определяется чувство национального отмщения. Воспитанный в еврейской среде, Е.Ф. Азеф воспринимал все проявления антисемитизма в российском обществе как личную драму. Жертвами терактов руководимой им в основном становились чиновники, подозреваемые в причастности к погромным акциям.

Будучи евреем, Е.Ф. Азеф испытывал благожелательное отношение и уважение в революционной среде как представитель угнетенной национальности. В то же время ощущал на себе пренебрежение и даже насмешки в шовинистических охранных кругах. Замысел убийства К.Ф. Плеве и великого князя Сергея Александровича был обусловлен организацией обоими еврейских погромов. Сосед Е.Ф. Азефа по даче Я. Мазе свидетельствовал: «Я не сомневаюсь, что он обманул правительство, на которое работал, только в том, что касается Сергея Александровича и Плеве. Это не случайно. Это месть со стороны еврея по отношению к большим ненавистникам еврейского народа. Не зря говорили наши мудрецы: "Мир его праху. Еврей, даже согрешив, остается евреем"».

Безусловно, для израильского гражданина Л.Г. Прайсмана вопрос о национальных чувствах еврея-террориста представлял особый интерес. Но помимо субъективного аспекта исследования, историку удалось выявить универсальную этнофобскую парадигму формирования террористического менталитета. Одним из важнейших факторов, определяющих склонность к террористической деятельности, являются различного рода национальные комплексы, а потому путь предотвращения такого рода предрасположенности видится в модуляции механизмов этнотолерантности.

В контексте рассмотрения семиосферы русского революционного терроризма А. Келли сосредоточила внимание на ее преломление в романах Б.В. Савинкова. С точки зрения исследовательницы, они отражали реальный процесс деморализации деятельности боевиков, фиксировали рубеж прихода новой генерации революционеров-циников. «Конь бледный», - писала А. Келли, - был откровенной демистификацией цельного героя». «Этот роман, - продолжала она, - очерчивает возникновение нового типа, в котором моральная устойчивость превратилась в равнодушие к морали, - высоко специализированного техника революции». Впрочем, выдвинутые А. Келли оценки были традиционны и для интерпретации савинковских произведений отечественными историками.

Особое внимание западных исследователей привлекал этический аспект в развитие терроризма. По мнению У. Лакера, доминирующей тенденцией в истории мирового террористического движения стала дегуманизация насилия. «Если ранние террористические группы, - писал американский историк, - воздерживались от актов намеренной жестокости... с изменением характера терроризма, как левого, так и правого, гуманное поведение больше не является нормой.... Политический террорист наших дней... освободился от угрызений совести». Дегуманистическая трансформация российского терроризма датировалась периодом революции 1905-1907 гг. Если в начале революции преобладал каляевский тип рефлексирующего террориста, то менее чем за год он оказался вытеснен образом боевика-экспроприатора.

Апробированная экзистенциалистами модель Ф.М. Достоевского в интерпретации русского терроризма оказала влияние и на западных историков. Психологическая драма террористов обнаруживалась в столкновении революционной этики и аморальности убийства. У русских террористов «дух разрушения соседствовал с высоким моральным сознанием», -писал О. Рэдки. Грех убийства, полагал он, ими искупался посредством непременного ритуала самопожертвования.

В философии экзистенциализма террористы-народовольцы и эсеры служили излюбленными персонажами, иллюстрирующими правильность экзистенциалистской концепции. Философы экзистенциалистского направления определяли эсеров как русских экзистенциалистов.

«Разборчивые убийцы» - так метко и точно названы русские революционеры-террористы в книге французского экзистенционалиста А. Камю «Бунтующий человек». Книга увидела свет в 1951 г. Сообразно со своими иррациональными воззрениями. А. Камю видел в эсеровском терроре попытку обретения онтологической свободы, бунт против объективизации. В СССР роман обвинялся не больше и не меньше, как в пропаганде террористических актов против советского руководства. Рассуждая о судьбе И. Каляева и его сподвижников, А. Камю писал: «С помощью бомбы и револьвера, а также личного мужества, с которым эти юноши, жившие в мире всеобщего отрицания, шли на виселицу, они пытались преодолеть свои противоречия и обрести недостающие им ценности. До них люди умирали во имя того, что знали, или того, во что верили. Теперь они стали жертвовать собой во имя чего-то неведомого, о котором было известно лишь одно: необходимо умереть, чтобы оно состоялось. До сих пор шедшие на смерть обращались к Богу, отвергая человеческое правосудие. А знакомясь с заявлениями смертников интересующего нас периода, поражаешься тому, что все они, как один, взывали к суду грядущих поколений. Лишенные высших ценностей, они смотрели на эти поколения как на свою последнюю опору. Ведь будущее - единственная трансцендентальность для безбожников. Взрывая бомбы, они, разумеется, прежде всего, стремились расшатать и низвергнуть самодержавие. Но сама их гибель была залогом воссоздания общества любви и справедливости, продолжением миссии, с которой не справилась церковь. По сути дела, они хотели основать церковь, из лона которой явился бы новый Бог».

Весьма перспективной представляется разработка лишь сформулированной в западной историографии проблемы религиозных истоков русского революционного терроризма. Многие из террористов действительно являлись глубоко верующими людьми. Ряд ярких представителей революционного подполья пришли к терроризму через особое истолкование христианского учения. Отмечалась ментальная изоморфность террористических и религиозных организаций. Русских террористов, писал 3. Ивиански, характеризовал «дух религиозного Ордена». Он сравнивал Боевую организацию эсеров с сектой, члены которой полагали, что, осуществляя теракты, несут некую сакральную миссию.

Если советские историки классифицировали террористическую тактику как проявление индивидуализма, то ряд западных авторов усматривали в терроризме отражение коллективистской ментальности. В Боевой организации эсеров, утверждал В. Рейч, боевики идентифицировали себя с группой, растворяя собственную индивидуальность в коллективном разуме.

Симптоматично, что советские историки даже не предпринимали попыток подсчитать количество жертв революционного терроризма. Масштабы крови, проливаемой в российской истории, по-видимому, нивелировали в сознании трагедии терактов. Зато статистические расчеты численности пострадавших от терроризма в России активно велись в западной историографии. По данным А. Левина, начиная с октября 1905 г. в течение года было убито и ранено 3611 государственных чиновников. Согласно цифрам Л.И. Страховского, за 1906 г. было убито 738 чиновников и 645 частных лиц, ранено соответственно 948 чиновников и 777 частных лиц. На 1907 г. цифры убитых составили не менее 1231 чиновника и 1768 частных лиц, раненых - 1284 и 1734. Добавив к расчетам А. Левина и Л.И. Страховского статистику жертв за 1905 г., А Гейфман определяла численность пострадавших от революционных терактов за Первую русскую революцию как превышающую рубеж в 9000 человек. Интересно, что ежедневное количество жертв терактов к концу 1907 г. составляло 18 человек, соответствуя, таким образом, уровню 1905 г. Да и за период с января 1908 г. по середину мая 1910 г. динамика терроризма не изменилась принципиально, составив 19957 терактов и революционных грабежей, в результате которых пострадало 7634 человека (убиты 732 государственных чиновника и 3051 частных лиц, ранено 1022 государственных чиновника и 2829 частных лиц). Таким образом, положение о спаде революции и торжестве реакции в соответствующий период оказывается не подтверждено статистикой террористических актов. Общее же количество жертв революционного терроризма составило, согласно А. Гейфман, цифру в 17000 человек.

Столь же впечатляющими являлись масштабы революционного грабежа. Не в традициях советской историографии было подсчитывать убытки от террористических актов коммерческих структур. По приводимым А. Гейфман данным, на период с начала 1905 г. и до середины 1906 г. ущерб имперских банков от революционного терроризма превысил 1 миллион рублей. С октября 1905 г. за годичный срок революционеры совершили 1951 грабеж, из которых 940 представляли собой ограбление государственных и частных финансовых учреждений. Доходы экспроприаторов за соответствующий период оцениваются исследовательницей в 7 миллионов рублей. «В прежнее время банком назвалось хранилище денег», - давалось определение банка в анекдотическом Новейшем энциклопедическом словаре. Статистика экспроприации, как и покушений на убийство по революционным мотивам, оставалась довольно высокой и в эпоху, традиционно определяемую как отступление революций. Только за две недели - с 15 февраля по 1 марта 1908 г., утверждает А. Гейфман, в руки экспроприаторов попало приблизительно 448000 рублей.

Естественно, не все концептуальные положения западной историографии в отношении российского революционного терроризма следует признать в достаточной степени аргументированными. Так, Ф.Б. Рэндал в своей докторской диссертации, защищенной в Колумбийском университете, связывал террористический ореол партии социалистов-революционеров с фактом включения тактики терроризма в эсеровскую программу, от чего иные политические организации воздерживались. В действительности соответствующая популярность эсеров определялась не программными документами, а резонансом терактов против столпов реалии, таких как В.К. Плеве.

Более права М. Перри, писавшая, что «жертвы 1902-1904 годов были хорошо выбраны как символы государственных репрессий... Убийство Сипягина и Богдановича принесли определенную поддержку эсерам в массах».

Многие концептуальные положения, апробированные в западной историографии российского революционного терроризма, были аккумулированы отечественными исследователями в постсоветский период.